

ПОСЛЕДНЕЕ ТЕПЛО

МИРА ДОРР

18+

Мира Дорр

Последнее тепло

«Автор»

2026

Дорр М.

Последнее тепло / М. Дорр — «Автор», 2026

Я гляциолог. Моя работа — понимать лёд: как он растёт, как держится и как умирает. Я провалилась в трещину на леднике, а очнулась в чужом теле, в городе, где сто лет не наступает лето. Здесь греются у медных столбов, растят репу в теплицах на крышах и рассказывают детям про траву как про сказку. Зиму послали боги, так записано в хрониках, и спорить с этим давно никто не пытается. А я умею считать. И по старым записям выходит, что город замёрзнет через девятнадцать лет. Тепло в столице держит один человек. Седой, с молодым лицом, он сто лет не выходит из башни и твёрдо уверен, что спасения не заслуживает. Меня не интересует, что он заслуживает. Меня интересует механизм.

© Дорр М., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Трещина	5
Глава 2. Эйла	9
Глава 3. Хранитель	13
Глава 4. Правда об Эйле	16
Конец ознакомительного фрагмента.	19

Мира Дорр

Последнее тепло

Глава 1. Трещина

Ледник скрипел с утра. Я слышала его ещё в палатке, сквозь спальник и две шапки: низкий звук идёт из толщи и отдаётся в рёбрах раньше, чем доходит до ушей. Костя про такое говорит «дышит», и на третьем сезоне я перестала его поправлять. Лёд течёт, напряжения в нём копятся и сбрасываются, апрельское солнце греет поверхность, а глубина держит свои минус одиннадцать. Скрипеть ему положено.

К девяти мы выехали на профиль. Купол в ясную погоду похож на перевёрнутую тарелку посреди острова: край уходит вниз во все стороны сразу, и горизонт оказывается ближе, чем ждёшь. Солнце висело низко над южным склоном и садиться до конца августа не собиралось. На гребнях застругов снег отливал розовым, в ложбинах лежала синева, а ветер за ночь нарезал новых гряд, так что снегоход скакал по ним и у меня клацали зубы.

— Четырнадцатая! — крикнул Костя через плечо и заглушил мотор.

После мотора на куполе всегда закладывает уши. Потом слух привыкает, и выясняется, что тишины здесь нет: позёмка шуршит по насту, капюшон хлопает на ветру, под ногами потрескивает. Я слезла с саней, размяла колени и глянула на термометр, пристёгнутый к рюкзаку. Минус двадцать два, ветер слабый, для конца апреля почти курорт.

Вешка номер четырнадцать торчала из снега на полметра меньше, чем осенью. Костя уже вытаскивал лопату: ему предстояло копать шурф, описывать слои и взвешивать пробы, часа на полтора работы. Мне оставалось пройти вверх по линии до скважины, снять данные с термокосы и вернуться ему помочь.

— Рацию взяла? — спросил он, не разгибаясь.

— Взяла. И щуп, и совесть.

— Совесть оставь, она тут мёрзнет.

Я пошла по флажкам. Линию мы размечали два года назад, бамбуковые палки с красными лоскутами через каждые пятьдесят метров, и за эту весну я проходила её столько раз, что узнавала заструги в лицо. По инструкции на ледник ходят в связке. По той же инструкции на куполах без открытых трещин допускается одиночный маршрут в пределах видимости напарника, а карту трещин мы составляли сами, по георадару, и здесь на ней значился сплошной лёд. Я оглянулась: оранжевая Костина куртка мелькала над краем шурфа, снег летел с лопаты ровными порциями.

Хорошо идти по куполу одной. В Москве я всё время кому-то что-то объясняю: маме, почему в двадцать девять лет у меня спальник дороже дивана, начальнику отдела, почему отчёт нельзя сдать раньше, чем закончится сезон. Здесь объяснять некому. Есть лёд, в нижних слоях ему тысячи лет, и отвечает он только на правильно заданные вопросы. Холод я за это и люблю, если такое слово сюда подходит: он убирает лишнее. При минус двадцати двух человек думает о важном, потому что на остальное не хватает калорий.

Скважина пряталась под фанерным ящиком, который мы осенью придавили канистрой. Я откопала крышку, сняла верхние рукавицы и осталась в тонких перчатках: разъём логгера в толстых не подцепить. Пальцы заныли через минуту. Планшет думал, мигал зарядом, потом всё-таки увидел прибор, и по экрану поползли строчки. Сорок датчиков на тросе, от поверхности до ста двадцати метров, замер каждые шесть часов с октября.

Этот момент я люблю больше, чем положено взрослому научному сотруднику. Всю зиму, пока мы сидели в институте и писали заявки, трос висел в темноте и записывал, как волна

осеннего холода уходит вглубь и гаснет. Я пролистала до нижних датчиков. На ста метрах стояло на семь сотых теплее, чем год назад, и на двенадцать теплее, чем два года назад. Семь сотых градуса звучат смешно, пока не вспомнишь, что речь о толще, которая не менялась веками. Там, внизу, что-то сдвинулось, и сдвигалось оно в одну сторону. Я поймала себя на том, что улыбаюсь в балаклаву: из этого получалась статья, и хорошая.

Пока файл копировался, я от нечего делать смотрела назад, на свои следы, и увидела полосу. Она пересекала линию флажков наискось, метрах в тридцати ниже скважины, шириной в пару шагов. Снег в ней просел на ладонь, и при высоком солнце я бы её не заметила, но низкий свет положил вдоль края тень. Мои следы шли прямо через неё. Я прошла там пять минут назад, думая про маму и диван.

Что такое просевшая полоса на леднике, знает любой студент после первой практики. Под ней пустота, сверху снежный мост, и вопрос только в том, какой он толщины. Первой пришла досада, очень конкретная: карта врала, значит, георадарный профиль два года назад прошёл мимо или трещина открылась позже, и в обоих случаях всю схему безопасных маршрутов придётся переделывать. Страх подтянулся следом, и я отметила его так же, как отмечаю показания прибора. Потом нажала тангенту.

— Костя, приём. У меня трещина поперёк линии, между мной и тобой. Закрытая, мост просел.

— Понял, — отозвался он сквозь шипение, и голос у него сразу стал рабочим. — Никуда не ходи. Беру верёвку и иду к тебе по следу, до края.

— По следу нельзя, он как раз через неё. Обходи с востока, там склон выпуклый. Я прошупаю со своей стороны и поставлю тебе флажки.

— Даша, без самостоятельности.

— Я только щуп достану, — сказала я и отпустила кнопку.

Щуп лежал в боковом кармане рюкзака, а рюкзак я бросила у ящика, в двух шагах. Я пристроила планшет на крышку, чтобы не дёргать кабель, и шагнула к рюкзаку.

Снег под ногой не хрустнул. Он ушёл вниз весь сразу, пласт размером с комнату, вместе с ящиком и канистрой, и секунду я ещё стояла на нём, как в лифте, который поехал. Потом пласт развалился.

Про падение в трещину пишут, что жизнь пронесётся перед глазами. У меня пронеслась стена, голубая, в горизонтальных полосах годовых слоёв, и я успела подумать, что трещин здесь две и вторая идёт под самой скважиной. Удар пришёлся в бок и в бедро. Меня развернуло, протащило по льду и заклинило там, где стены сходились: плечи вошли, грудная клетка дальше не пролезла.

Сверху сыпалось ещё долго. Когда перестало, я открыла глаза и увидела над собой щель света шириной в ладонь на вытянутой руке. До неё было метров пятнадцать, может быть, восемнадцать. Вдохнуть полной грудью не получалось, лёд держал рёбра с обеих сторон, и правую ногу я чувствовала хуже, чем левую. Рация болталась на шнуре где-то у колена и повторяла Костиным голосом моё имя.

Я попробовала до неё дотянуться. Правая рука была прижата к стене, левая двигалась от локтя, и пальцы в тонких перчатках уже плохо слушались: верхние рукавицы остались на крышке ящика, которого больше не существовало. Тогда я стала считать, потому что считать могу в любом состоянии. В трещине около минус пятнадцати и нет ветра, это хорошо. Я неподвижна и прижата ко льду большой площадью, это плохо. Косте нужно обойти, закрепиться и спуститься, а он один, значит, сначала он вызовет базу, и вертолёт оттуда — это часа три при лётной погоде. Со сдавленной грудью и без рукавиц трёх часов у меня не было. Выходило минут сорок ясной головы.

— Костя, — сказала я вверх, и вышел сип. — Я внизу. Живая. Заклинило.

Рация замолчала на полуслове: услышал. Потом наверху, очень далеко, завёлся снегоход и пошёл в обход, звук сместился вправо. Я слушала его и думала, что Костя всё делает правильно и что правильно в нашем деле означает медленно. Остаток моста над головой держался ещё с минуту. Потом щель света мигнула, расширилась, и в неё пошёл снег, тяжёлый, сразу много.

Темно стало быстро. Холод сначала был везде, потом отступил от рук и ног, и я знала, что это значит, у этой стадии есть название в учебнике. Последняя связанная мысль была про планшет: остался он наверху или упал со мной, и если упал, то данные за всю зиму, от поверхности до ста двадцати метров, лежат сейчас где-то подо мной и никто их не прочтёт. Обидно было до слёз, и слёзы действительно потекли, тёплые на щеках.

Тепло не ушло. Оно расплзлось от щёк к шее, к груди, тяжело легло на плечи. Про ощущение жара при глубокой гипотермии я тоже читала, от него люди в последние минуты раздеваются в сугробах, и я успела сказать себе, что раздеваться не буду хотя бы потому, что не могу пошевелиться. Потом выяснилось, что могу. Пальцы на ногах согнулись. Рёбра поднялись на вдохе, и лёд их не остановил.

Ещё пахло дымом. Это и убедило меня открыть глаза: гипотермия объясняет тепло, а угольный дым с примесью калёного железа в ледниковой трещине не объясняет ничто.

Надо мной был потолок. Низкий, из тёмных балок, между ними доски, на одной балке висел пучок сухой травы, перевязанный ниткой. Я смотрела на него долго и ждала, когда он превратится в щель света. Он остался пучком травы.

Паниковать я не стала, и заслуги моей тут нет: паника требует сил, которых у меня не было. Я сделала то, чему учат на курсах первой помощи и что мне дважды приходилось делать по-настоящему, после перевернувшегося снегохода на Шпицбергене и после палатки, которую ночью сорвало в Антарктиде. Проверила себя по частям. Ноги сгибаются обе, правая ничуть не хуже левой. Бок, которым я ударилась, не болит даже при нажатии. Голова ясная, в ушах не звенит, во рту сухо и стоит привкус, какой бывает после высокой температуры. Потом я вытащила из-под одеяла руки, и на этом осмотр по протоколу закончился.

Руки были чужие. Ладони уже моих, пальцы длиннее, у основания большого пальца на левой блестел старый ожог размером с монету. Вокруг ногтей въелась чёрная кайма, которую не берёт мыло, такая бывает у людей, работающих с углём или металлом. На левом мизинце не оказалось белого пятна, которое я привезла из второй антарктической экспедиции и которое с тех пор ныло на любой мороз. Я сжала кулак и разжала. Чужие пальцы послушались сразу, без задержки, и от этого стало хуже, чем от самого их вида.

Одеял на мне лежало три, сверху ещё шкура с жёстким мехом. Я села. Через плечо на грудь упала коса, светлая, толщиной в запястье, а у меня с первого курса стрижка под шапку и волосы тёмные. Из рта шёл пар. В комнате топилась печь, я слышала, как в ней оседает уголь, и при этом воздух у лица был градусов восемь. Привычка оценивать температуру кожей никуда не делась, и я ухватила за неё, как за поручень.

Объяснений набиралось немного. Либо я всё ещё в трещине и мозг напоследок показывает кино, либо меня достали и я лежу в реанимации с очень подробным бредом, либо всё вокруг настоящее. Первые два варианта проверялись одинаково. Бред плохо держит детали: в нём нельзя дважды прочитать одну и ту же надпись, нельзя пересчитать предметы и получить то же число. Я пересчитала балки на потолке, их вышло семь. Закрыла глаза и открыла снова. Семь, и пучок травы на третьей от окна.

Комната была маленькая, стены сложены из серых блоков, швы промазаны тёмным раствором. Вдоль пола тянулась железная труба толщиной в руку и уходила в соседнюю стену; в трубе тикало и булькало. Печь стояла в углу, чугунная, на гнутых ножках, с заслонкой в виде решётки, и углём тянуло от неё. Железом пахло отовсюду: от трубы, от кованых петель на двери, от кожаного фартука, который висел на гвозде. Окно прорезали в стене такой толщины,

что подоконник годился бы под лавку, а само оно было узкое, в две ладони, и стекло изнутри заросло ледяными перьями.

Я спустила ноги на пол. Доски оказались ближе, чем я рассчитывала, сантиметров на пять, и я качнулась, прежде чем поймала равновесие в теле, которое ниже моего и легче. Третья доска от кровати скрипнула. Я знала, что она скрипнет, за полшага до того, как на неё наступила, и знание это пришло из-под моих собственных мыслей, как подсказка с задней парты.

Так же, без спроса, пришло остальное. Вода в кувшине на сундуке, кувшин надо держать у печи, иначе к утру схватится. Шерстяные чулки в сундуке слева. За дверью лестница вниз, одиннадцать ступенек, под лестницей ларь с углём, и угля там на доньшке. Одна картинка мелькнула и пропала: широкая спина в прожжённой рубахе, рука с молотом идёт вниз, от наковальни летит рыжая окалина. Лица у спины не было, имени тоже. Под рёбрами на секунду потеплело, и следом там стало пусто.

На сундуке рядом с кувшином лежал медный поднос, начищенный с одной стороны до блеска. Я взяла его обеими руками и повернула к окну. Из меди на меня посмотрела девушка лет двадцати трёх, с широким лбом и светлыми бровями, с обветренными губами и тенью под глазами, какая остаётся после болезни. Я подняла бровь, и она подняла. Знакомиться с человеком таким способом невежливо, но другого у меня не было.

К окну я пошла потому, что оно было единственным прибором в этой комнате. Лёд на стекле я протаяла ладонью, узкой, чужой, и дышала в проталину, пока она не расширилась до размера блюдца. Снаружи лежал двор. Каменная ограда в человеческий рост, за ней крыша соседнего дома с тремя трубами, из двух шёл дым и ложился набок по ветру. Под навесом во дворе стояла наковальня, на ней шапка снега в две ладони высотой, и горн рядом был чёрный, давно остывший. Небо висело серое, без единого разрыва, и с него сеялась мелкая крупа.

Дольше всего я смотрела на северную стену ограды. По всей её высоте, от земли до верхних камней, шла наледь, мутная, в наплывах. В наплывах читались полосы: светлая, потом тёмная от сажи, опять светлая. На куполе по таким полосам считают годы, и я начала считать машинально, дошла до двадцати и бросила, потому что ниже лёд уходил в сугроб. Наледь на стене жилого двора не может копиться двадцать лет подряд, каждое лето она должна сходить. Эта не сходила. Значит, лета здесь не было очень давно, или его тут не бывает вовсе.

За оградой что-то прошло, тяжёлое, с лязгом и шипением, полозья визжали по укатанному снегу. Самой машины я не увидела, только белый столб пара проплыл над камнями слева направо и растаял. Лошадь так не шипит. В груди у меня, в чужой груди, на этот звук ничего не дрогнуло: для тела он был привычным, как для меня трамвай под окном на Профсоюзной.

Я провалилась под лёд и попала в зиму. Логично, сказал бы Костя, куда ещё может попасть гляциолог. Я подумала о нём, о том, как он сейчас стоит у края на страховке и кричит вниз, и села на подоконник, потому что ноги перестали держать. Плакать не получалось. Получалось дышать на стекло и смотреть, как проталина затягивается обратно тонкими иглами, от краёв к середине, со скоростью примерно сантиметр в минуту.

Внизу грохнуло. Кто-то бил в дверь кулаком, основательно, с расстановкой, и дверь, судя по звуку, была обита железом.

— Эйла! — позвал мужской голос, сиплый с мороза. — Эйла, отворяй, я уголь приволок! Ты там живая вообще?

Слова были не русские. Я поняла каждое и поняла ещё одну вещь, пока сидела на холодном камне с подносом на коленях: на имя «Эйла» моя голова повернулась раньше, чем я успела подумать, чьё оно.

Глава 2. Эйла

Ступенек оказалось одиннадцать. Я сосчитала их на ходу, держась за стену, и на девятой подумала, что бред так себя не ведёт: он не сходится сам с собой до ступеньки. Внизу было темно и холоднее, чем в спальне. Чужая рука без моей помощи нашла засов и приподняла его за зуб, прежде чем тянуть.

За дверью стоял человек шириной с эту дверь. Борода у него была рыжая и вся в инее, на лбу сидели очки-консервы на ремне, из подсумков на поясе торчали гаечные ключи. За собой он тащил салазки с мешком. Пахло от него машинным маслом и мокрой овчиной.

— Ну, хвала богам, на ногах, — сказал он и поволок мешок через порог, не дожидаясь приглашения. — А я Марте твержу: кузнецова порода, её лихорадкой не возьмёшь. Шесть дней пластом, шутка ли! Дверь закрой, улицу топишь.

Имя пришло с опозданием, как всё здесь приходило: Рорик. Сосед через ограду, механик, чинит всё, что шипит и крутится. За именем потянулось ощущение, что этого человека можно не бояться, и я решила пока ему верить, раз других источников нет.

Я закрыла дверь и привалилась к ней спиной. Рорик ссыпал уголь в ларь под лестницей и говорил не оборачиваясь, а я слушала так, как слушаю начальника станции в первый день сезона: всё подряд, разберу потом. Угля совет даёт полмешка на двор в неделю, и это ещё по-божески, прошлой зимой давали треть. Свою долю он отдаёт мне, потому что у него в мастерской котёл и на котёл казна отпускает отдельно. Лихорадка ходит по кварталу с праздника Середины зимы, двоих стариков с Нижней улицы уже снесли на погост. Марта, вдова пекаря, поила меня отваром с ложки и клялась, что я не жилец.

— Рорик, — сказала я, и голос вышел выше моего, с хрипотцой после болезни. — У меня после жара в голове дыры. Смотрю на вещь и не помню, откуда она. Ты не пугайся, если спрошу глупое.

Он разогнулся и в первый раз за всё время посмотрел на меня внимательно. Глаза у него были светлые, в красных прожилках от дыма.

— После горячки бывает, — решил он. — Дед мой неделю жену сестрой звал, потом прошло. Спрашивай. Только сядь, а то ты цветом как тот снег.

Сесть было некуда, кроме высокого табурета за прилавком. Нижняя комната оказалась лавкой: дубовая доска поперёк, за ней стена в крюках, на крюках подковы, дверные петли, скобы и десяток ножей с бирками, сданных в заточку. Половина крюков пустовала. На бирках стояли значки, и я не сразу поняла, что читаю их. Буквы были угловатые, незнакомые, а смысл складывался сам, медленно, по слогам, как у первоклассницы.

Рорик тем временем приложил ладонь к трубе, которая шла вдоль пола и здесь.

— Еле дышит, — сказал он с отвращением. — На станции опять давление уронили, уголь берегут. Был бы узел на углу живой, горя бы не знали.

— Узел?

— Вот они, дыры твои. Тёплый столб на перекрёстке, медный, с тебя ростом. Седьмую зиму как погас. Ты ж девчонкой к нему бегала руки греть, Хальвар ещё... — он осёкся и полез пятернёй в бороду.

Хальвар. У широкой спины из утренней картинке появилось лицо, скуластое, в подпалинах от искр, с такими же светлыми бровями, как на медном подносе. Следом пришла прошлая зима: кашель за стеной, который сначала мешал спать, а потом стал единственным звуком в доме, и утро, когда его не стало слышно. Кузню после этого Эйла закрыла. Одной ей горн было не поднять, она брала в заточку ножи и правила соседям петли, и крюков на стене пусто все больше.

Человека этого я не знала и горевать по нему не могла. Горло всё равно перехватило, глаза защипало, и я с некоторым научным интересом отметила, что слёзные железы всё ещё подчиняются прежней хозяйке.

— Год уже, — сказал Рорик в сторону. — Он бы мне голову оторвал, что я за тобой недоглядел. Собирайся, пойдёшь ко мне. У меня похлёбка и котёл, а тут ты к ночи обратно сляжешь.

Одевалась я долго и с уважением к предмету. Руки помнили порядок сами: рубаха, вязаная фуфайка, стёганая безрукавка, сверху тулуп, крытый сукном, на ноги двое чулок и войлочные сапоги на кожаной подошве. Шерсть шла к телу, слои не стягивали друг друга, воротник закрывал горло до ушей. Любой полярник подписался бы под такой схемой. Так одеваются там, где мороз давно перестал быть сезоном.

Улица шла под уклон. Дома стояли плечом к плечу, чтобы не отдавать тепло лишним стенам, серый камень до второго этажа и тёмное дерево выше. Окна у всех были узкие, как моё, и смотрели на подветренную сторону. Над коньками, там, где положено быть чердаку, блестело стекло: на каждой второй крыше сидела теплица, запотевшая изнутри, и сквозь муть угадывалась зелень. Я остановилась и смотрела, пока Рорик не дёрнул меня за рукав. Зелёный цвет в этом городе жил под стеклом, на высоте трёх этажей, и больше я его нигде не нашла.

Дорогу укатали до льда и посыпали золой. По обеим сторонам тянулись снежные стенки в человеческий рост, и на срезе я видела слои, плотные, серые от копоти внизу. У домов постарше двери оказались ниже улицы: к ним вели вырубленные в снегу ступени, по шесть, по восемь вниз, а бывшие окна первого этажа глядели в белую стену. Улица росла. Снег возили, судя по колеям, каждый день и всё равно не успевали, и город понемногу уходил в него, как уходит в купол забытая вешка.

Из-за поворота выползла та самая машина, которую я утром слышала за оградой. Клёпанный котёл лежал на широких полозьях, сзади вращался барабан в железных шипах и с хрустом грыз наст, из медной трубы толчками бил пар. Наверху сидел возница в кожаном шлеме и подбрасывал уголь лопаткой на длинной ручке. Сани тащили платформу с бочками, и от бочек тянуло кислой капустой. Мы прижались к стенке, пропуская.

— А лошадей не держат? — спросила я, когда лязг отдалился.

— При казённой конюшне есть с десяток, для парада, — Рорик сплюнул в снег. — Овса на них не напасёшься, и ноги бьют на льду. Котлу что, котёл не мёрзнет. Ты вправду не помнишь?

— Говорю же, дыры.

Люди навстречу шли быстро, лица до глаз замотаны шарфами, никто не стоял и не разговаривал на улице. На перекрёстке торчал медный столб, тот самый узел. Он позеленел до черноты, по нему вился литой узор из листьев, а на высоте груди металл был вытерт ладонями до блеска. Женщина с коромыслом прошла мимо и на ходу коснулась его рукой, не глядя, как трогают на счастье. Я тоже приложила ладонь. Медь была холодная, ровно такая, какой ей положено быть при минус восемнадцати.

Мастерская Рорика занимала бывший каретный сарай. Когда он откатил створку, тепло ударило в лицо так, что заломило зубы, и я встала на пороге, пока глаза привыкали. Посередине гудел котёл в человеческий рост, от него расходились трубы с манометрами, под потолком на цепях висел разобранный двигатель саней. Латунь блестела везде, куда падал свет из топки. Пахло углём и горячим маслом, и за шесть часов в этом мире это был первый запах, от которого плечи опустились сами.

Жил Рорик тут же, на антресолях над верстаком. Он усадил меня к котлу, сунул в руки миску и ложку, вырезанную из рога, и я обнаружила, что тело хочет есть до дрожи в пальцах. В похлёбке плавали репа и сушёные грибы, сверху блестели редкие кружки жира. Грибы, объяс-

нил Рорик с набитым ртом, растят в подвалах на опилках, это каждый дурак умеет, а за репой его сестра ходит в общинную теплицу и стоит полдня в очереди.

Я доела и поставила миску на колени, чтобы греть об неё руки.

— Рорик, а давно так? Зима.

Он перестал жевать. Потом захохотал, хлопнул себя по колену и долго не мог остановиться.

— Ну ты и приложились головой, соседка! Сто лет. В этом году сотую Середину справляли, совет по лишней свече на двор выдал, ты ещё ворчала, что лучше бы углём.

— И что, никто не помнит, как было раньше?

— Сто лет зимы, кому помнить-то? — Он пожал плечами. — Никто не помнит, когда было иначе. Кроме стариков, но старики чуют. Бабка моя клялась, что девчонкой бегала босиком по траве на выгоне за Южными воротами. Мы с братьями её дразнили: покажи, бабка, траву. Она плакала, дура старая, а мы ржали.

— Сколько ей было, когда она умерла?

— Восемь десятков, а то и с лишком. Десять зим тому.

Я посчитала, глядя в миску. Девочка, которая родилась девяносто лет назад, бегала по траве лет в пять или в семь. Выходило, что через пятнадцать лет после начала зимы за Южными воротами ещё рос выгон. Либо бабка Рорика врала внукам, либо сто лет назад зима началась где-то в другом месте и сюда добиралась долго. Старуха, которая плачет, когда над ней смеются, на враня не похожа.

— А откуда она пришла, зима? С какой стороны?

— С севера, вестимо. С Кольта. — Рорик облизал ложку и ткнул ею куда-то за котёл. — Там боги войну остановили, чужое войско в лёд вморозили. С тех пор и холодно, за грехи. Жрецы тебе складнее расскажут, я по железу.

На стене за его спиной висела картинка в рамке из медной трубки, раскрашенный оттиск. Зелёный холм, две пятнистые коровы, в углу жёлтый круг с лучами. Краски выцвели до цвета старого синяка. Рорик проследил за моим взглядом и сказал, что это племяннику, детям такие показывают, чтобы знали слова. Трава, корова, солнце с лучами. Племяннику шесть лет, и он считает, что всё это сказка вроде драконов.

Я встала, потому что от жары и еды начала засыпать, а спать было нельзя. Дальняя стена сарая, прежние ворота для карет, была забрана мелкими стёклами в свинцовом переплёте, и Рорик держал её чистой: ему нужен свет для работы. Я подошла вплотную.

Город лежал внизу. Наш квартал, оказывается, сидел на склоне, почти у верхней стены, и отсюда столица открывалась вся, до дальнего края долины. Крыши спускались уступами, на них тускло светились теплицы, сотни зеленоватых квадратов в сером. Дымы стояли над трубами и на одной высоте ложились набок, упираясь в слой холодного воздуха; я знала эту картину по зимним посёлкам на Ямале. Кое-где между домами поднимались кирпичные корпуса с трубами потолще, угольные станции, и над ними висела копоть.

В середине долины стояла башня. Она была выше всего остального в городе, тёмная, без единого дыма, и крыши вокруг неё чернели голые. Круг без снега тянулся на несколько кварталов, и граница у него была чёткая, по ней можно было вести карандашом. Дымы ближних труб не ложились набок вместе с остальными. Их втягивало к башне и уносило вверх.

Над башней дрожал воздух. Это дрожание видел каждый, кто в июле смотрел вдоль шоссе: слои разной плотности, свет в них ломается, и дальние предметы плывут. Только бывает это над асфальтом в жару, а здесь оно стояло столбом в полнеба при минус восемнадцати, и я попыталась прикинуть, сколько нужно энергии, чтобы держать такую конвекцию круглые сутки. Цифра получилась такая, что я пересчитала её дважды. Ни одна котельная этого города столько не давала, да и все вместе не дали бы.

— Рорик. Что это?

Он подошёл с миской, встал рядом и долго искал, куда я смотрю.

— Где? А. Башня.

— Над ней воздух горит.

— Греет, — поправил он и зачерпнул ложкой со дна. — Там Хранитель живёт.

Глава 3. Хранитель

К башне я пошла на следующее утро, и объяснить это могу только рефлексом. Ночь я пролежала под тремя одеялами и шкурой, слушала, как тикает в трубе, и думала о маме, которой сейчас звонят из института. Думать об этом можно было до рассвета и без всякого результата. Под утро я поняла, что если не займу голову работой, то останусь в этой постели ещё на шесть дней, и тогда встала. Аномальный источник тепла посреди аномального холода надо хотя бы осмотреть. Этому учат на первом курсе, раньше, чем технике безопасности.

Термометра у меня не было, и за один спиртовой градусник я в то утро отдала бы чужую косу. Пришлось работать тем, что есть. Сухой снег скрипит под ногой, пока мороз крепче десяти градусов, и замолкает, когда теплеет. Сосульки растут только там, где крыша днём подтаивает, а ночью схватывается. Вода в луже либо стоит, либо нет. Глаза, уши и счёт шагов, вот и вся лаборатория.

От своей двери я шла вниз по улице и считала. Первые две тысячи шагов ничего не менялось: зола на льду, снежные стенки по плечо, замотанные лица, мёртвый узел на перекрёстке и ещё один, такой же зелёный, через три квартала. Небо висело низко. Свет под ним был ровный, без теней, и дома от этого выглядели плоскими, вырезанными из одного листа. Ветер тянул с севера, в спину, и нёс мелкую сухую крупу.

На две тысячи сто каком-то шаге снег перестал скрипеть. Я остановилась, вернулась на десять шагов, и он закрипел. Граница проходила поперёк улицы, у свечной лавки, и была шириной в один дом. Дальше всё менялось быстро. На карнизах появились сосульки, сначала с палец, потом в руку толщиной; под стенами лежал мокрый снег, серый, осевший. Люди опустили шарфы с лиц. Двое мальчишек сбивали сосульки палкой и ели их, и никто их за это не гонял.

Здесь же я увидела первый живой узел. Он стоял на маленькой площади, такой же медный столб в литых листьях, только рыжий, без зелени, и снег вокруг него сошёл до камня на три шага. Вокруг на лавках сидели старухи с вязаньем, спинами к меди. Рядом торговали с лотков сушёной рыбой и репой, под ногами крутились дети, и было件нятно, что весь квартал живёт на этом пятачке. Я протиснулась и приложила ладонь. Столб грел примерно как батарея в хрущёвке в ноябре, и внутри у него ничего не гудело и не потрескивало.

От узла вдоль улицы шла тёмная полоса. Снег на ней не держался, булыжник блестел мокрым, и полоса эта, шириной в локоть, вводила под уклон, к центру. Через квартал в неё влилась вторая, сбоку. Под мостовой, судя по всему, шла труба, и чем ближе к башне, тем больше таких полос сходилось вместе. Я шла и рисовала в голове схему. Получалась сеть вроде кровеносной, с башней вместо сердца, и по тому, куда полосы не доходили, я могла бы показать на карте каждый погасший узел.

На последнем отрезке закончился и мокрый снег. Крыши стояли голые, по водостокам текло, и на площади перед башней я впервые за два дня увидела под ногами сплошной камень. В щелях между булыжниками рос мох. Я присела на корточки и потрогала его. Он был настоящий, зелёный, влажный, с рыжими коробочками на ножках, и рос под открытым небом. Какая-то женщина обошла меня, как обходят юридивых.

Вблизи башня оказалась старше города. Камень у неё был другой, тёмный, почти чёрный, тёсанный крупно, без раствора в швах, и дома вокруг явно пристраивались к ней позже. Она шла вверх без уступов и украшений, только три медных обруча опоясывали её на разной высоте, и от нижнего уходили в землю медные жилы в ногу толщиной. Труб наверху не было. За всё утро я не увидела над ней ни струйки дыма, а воздух у подножия стоял такой, какой бывает в Москве в конце апреля, градусов двенадцать. Тепло без горения. Я постояла с этой мыслью и обнаружила, что расстегнула тулуп.

У бронзовой двери скучали двое в серых кафтанах с медными бляхами. Один был совсем молодой и при виде меня подобрался, второй, с седыми усами, даже не переменял позы.

— К Хранителю нельзя, — сказал усатый раньше, чем я открыла рот.

— Мне к нему и не надо. Мне бы посмотреть, как это устроено внизу, откуда жилы выйдут.

Молодой фыркнул. Усатый посмотрел на мои сапоги, на руки с чёрной каймой у ногтей и немного смягчился.

— Кузнецова дочка? С Верхнего конца? — Он покачал головой. — Девонька, сюда каждую неделю ходят. Кто с прощением, кто с хворым дитём, кто проклинать. Порядок на всех один: прощения несут в совет, совет раз в месяц носит наверх. Внутри заходит магистр Хольд и ещё механик, когда насосы чинить. Больше никто.

— А сам он выходит?

— На собрания, если совет зовёт. Да в Середину зимы, к кострам. — Усатый зевнул в кулак. — Хочешь знать, как тут устроено, ступай в архив, за советом, длинный дом с часами. Там про него три полки писано. Стену потрогать можешь, все трогают.

Я потрогала. Камень был тёплый, как бок печи, которую топили вчера, и под ладонью в нём ничего не гудело и не дрожало. Никакой машины за этой стеной не работало. Что-то просто отдавало тепло, ровно, час за часом, в количестве, которого хватило бы на небольшую электростанцию. Я убрала руку и пошла искать дом с часами.

Архив стоял позади совета, и тёплая полоса мостовой обрывалась у его крыльца. Внутри оказалось холоднее, чем на площади. Потом я узнала, что так задумано, бумага не любит сырого тепла, а тогда только застегнула тулуп обратно. Зал был длинный, с галереей по второму ярусу, шкафы уходили в полумрак, и пахло пылью, кожей и чернилами. Под единственным окном стоял стол. За ним у железной печки сидел старик с пледом на коленях и читал, держа книгу в вытянутой руке.

— Вам кого? — спросили сверху.

С лесенки у дальнего шкафа спускалась девушка лет девятнадцати, в перчатках с обрезанными пальцами и с чернильным пятном на носу. Она спрыгнула с третьей ступеньки, не дожидаясь, пока лесенка перестанет качаться.

— Мне сказали, здесь есть записи о зиме. О Хранителе и о перевале Кольт.

— Хроники? Вам? — Она оглядела мой тулуп так же, как стражник. Потом расцвела. — Ой, да конечно! Сюда же никто не ходит, кроме писарей из совета, а им только податные списки. Я Лив. Садитесь вон туда, к свету, я сейчас всё принесу. Дедушка Кейн, можно?

Старик опустил книгу и посмотрел на меня поверх неё. Глаза у него были выцветшие, слезящиеся, очень внимательные. Он кивнул и опять поднял книгу, но страницу, я заметила, не перевернул ни разу за следующий час.

Лив принесла три тома в деревянных крышках и раскрыла первый на закладке. Читать оказалось мучением. Буквы я узнавала, слова складывала, смысл приходил, но приходил со скоростью, с какой Эйла разбирала отцовские счета, и я водила пальцем по строке, шевеля губами. Когда привык проглатывать по статье за завтраком, это примерно как бежать в валенках. На второй странице Лив не выдержала, подседа и стала читать вслух, нараспев.

Хроника называлась «Слово о Кольте». В последнее лето, говорилось в ней, войско Эстмара вошло на перевал числом в сорок тысяч, и король молился трое суток, и боги вняли. Они дохнули на перевал, и войско стало льдом, каждый воин там, где стоял. С гор сошёл тот, кого боги оставили городу в утешение, Хранитель тепла. С тех пор он держит столицу своей милостью и будет держать, пока люди не искупят грехи, за которые послана зима. Дальше на сорока листах перечислялись грехи.

Второй том пересказывал первый стихами. Третий оказался житием: Хранитель не ест, не спит, не старится, говорит редко, к прошениям глух, ибо несёт бремя за всех. После «послед-

него лета» во всех трёх томах не нашлось ни одной даты, а из цифр были только сорок тысяч. О том, почему холод, которым боги остановили войско на перевале, сто лет спустя стоит под окнами у вдовы пекаря, хроника молчала.

Я закрыла том и положила на него обе ладони. Это была теология, а мне нужна была физика.

— Лив, а есть записи, где просто числа? Без богов. Когда на реке вскрывался лёд, сколько зерна собрали, когда поставили узлы и когда какой погас.

Она моргнула. Чернильное пятно на носу поползло вверх вместе с бровями.

— Портовые книги! Речная стража писала ледоход каждый год, пока он был. И десятинные списки, и книга узлов, она в подвале, я знаю где. — Лив уже бежала к шкафам и говорила на ходу, через плечо. — А вам зачем? Нет, не отвечайте, я всё равно принесу!

Она натаскала мне гору. Грифельную доску и мел я попросила сама, и следующие часы выпали из дня целиком, как выпадают в поле, когда пошли данные. Портовые книги вёл человек без воображения, благослови его здешние боги. Он писал одно и то же каждый год: день, когда река Вана пошла, и день, когда она встала. Я выписывала столбцом. В первые годы после Кольта лёд сходил в начале весны, как сходил, видимо, всегда. К десятому году опаздывал на две недели, к двадцатому на полтора месяца. На двадцать седьмой год напротив ледохода стояло одно слово: «не было». Больше стража ничего не писала, и следующая страница осталась чистой.

Десятинные списки говорили то же другим языком. Рожь с северных деревень перестала поступать на восьмой год, с ближних на девятнадцатый, а на двадцать второй хлебную десятину отменили королевским указом и заменили угольной. Я поставила точки на доске и соединила их. Вышла линия, которая сначала шла полого, потом загибалась вниз всё круче. Никакого обрыва в ней не было. В хронике богидохнули один раз, а в цифрах холод полз от перевала к столице четверть века и с каждым годом полз быстрее.

Бабка Рорика не вралa внукам. Она бегала по выгону за Южными воротами, потому что на пятнадцатый год там ещё росла трава.

— У вас получилось что-то? — шёпотом спросила Лив. Она давно сидела рядом, подперев щеку, и смотрела на доску. — Мой дед рассказывал про лето. Как река пахла тиной и как ему, маленькому, в самую жару не давали спать комары. В школе надо мной смеялись, а я ему верила. Нельзя придумать комаров, если их не было, правда?

— Комаров не придумывают, — согласилась я. — Он говорил, в каком году это кончилось?

— Говорил, что лето не кончилось разом. Оно каждый раз делалось короче, и в какой-то год его ждали, а оно не пришло.

Мне захотелось её обнять, и я удержалась только потому, что Эйла, судя по всему, была не из тех, кто обнимает архивных девиц. Вместо этого я попросила книгу узлов. Лив подхватила, загремела ключами и исчезла на лестнице в подвал, и её шаги долго стучали внизу, удаляясь.

В зале стало слышно печку. Я стёрла рукавом кривой столбец, начала переписывать начисто и только тогда почувствовала, что на меня смотрят. Старик больше не держал книгу. Она лежала у него на коленях поверх пледа, закрытая.

— Я знал Хальвара, — сказал Кейн. Голос у него был сухой и тихий, и говорил он без всякой спешки. — Он ковал петли для этих шкафов. Девочку приводил с собой, она сидела вон там, на ларе, и скучала. За двадцать лет она не раскрыла здесь ни одной книги, а буквы и сейчас разбирает по складам, я видел.

Мел у меня в пальцах сломался пополам.

— Она разбирает по складам, — повторил он, — и за полдня выписала ледоход за тридцать лет в столбец, как здесь не пишет никто. Эйла никогда не спрашивала про архивы. Кто ты?

Глава 4. Правда об Эйле

Обломок мела укатился под стол. Я смотрела, как он катится, и перебирала, что у меня есть. Сослаться на горячку можно было перед Рориком, он сам подсказал мне эту отговорку и сам в неё поверил. Старик у печки полдня наблюдал, как я работаю, а столбцы на доске горячкой не объяснишь. Либо я вру ему сейчас и больше в этот зал не вхожу, либо говорю правду и смотрю, что он с ней сделает. Данные лежали здесь, так что выбирать было особенно не из чего.

На подвальной лестнице застучали шаги. Лив вынырнула из люка с книгой в обнимку, вся в паутине, и уже открыла рот, чтобы рассказывать.

— Лив, — сказал Кейн, не повышая голоса, — снеси писарям податные списки за прошлый год, они с утра просили. И ступай домой, темнеет.

— Дедушка Кейн, мы же только начали!

— Завтра продолжите. Книгу оставь.

Она посмотрела на меня, на него, шумно вздохнула и положила том на край стола. Собиралась она долго и с укором, дважды возвращалась за варежками. Когда дверь наконец хлопнула, в зале стало слышно, как под окном капает с крыши совета: совет стоял в тёплом круге.

— Эйла болела шесть дней, — начала я. Говорить оказалось проще, если смотреть на доску. — Лихорадка, по кварталу ходит с Середины зимы. На седьмой день в её постели проснулась я. Меня зовут Дарья. Я из очень далёкой страны, название вам ничего не скажет. Там моё ремесло называлось гляциолог, это человек, который изучает лёд: откуда он берётся, как растёт, как движется и почему тает. Я провела на льду три зимы и ещё несколько сезонов по ту сторону мира.

Кейн молчал. Плед у него на коленях не шевелился.

— Вчера, по моему счёту, я провалилась в трещину на леднике. Думаю, что там я умерла. Как оказалась здесь, я не знаю, и объяснить это мне нечем, я пробовала. От Эйлы остались руки, которые помнят засов, и память на вещи: где лежит уголь, как зовут соседа. Её самой я не слышу. — Я всё-таки подняла глаза. — Вашему городу я не враг. Мне просто больше нечего здесь делать, кроме того, что я умею.

О самолётах и спутниках я говорить не стала. Человеку за девяносто хватит и того, что в знакомом теле сидит чужая женщина. Он долго смотрел на меня слезящимися глазами, потом наклонился, открыл дверцу печки и подложил два куска угля щипцами, очень аккуратно, один на другой.

— Девочку жаль, — сказал он наконец. — Тихая была. И Хальвара жаль, он на ней одной и держался последний год.

— Мне тоже жаль.

— Верю. — Он закрыл дверцу. — Семьдесят лет я сижу в этом зале и жду, когда кто-нибудь войдёт и попросит числа без богов. Приходили за родословными, за межевými грамотами, один раз жрец приходил жечь. За числами не пришёл никто. Я старый человек, мне поздно перебирать, из какого тела их наконец попросили. Хорошо.

Встать у него получилось со второй попытки. Я дёрнулась помочь, он остановил меня ладонью и пошёл сам, держась за шкафы, в дальний угол, где стоял ларь, на котором, по его словам, когда-то скучала Эйла. Ключ висел у него на шее, на шнурке, под тремя фуфайками. Из ларя он вынул папку из толстой кожи, перевязанную сыромятным ремнём, и нёс её к столу двумя руками, как несут полную миску.

— Это вёл мой учитель, мастер Орвин, — сказал Кейн, опускаясь на стул. — Он был смотрителем королевских часов и держал у северного окна стеклянную трубку со спиртом. Смотрел, как спирт ходит вверх и вниз от тепла, и размечал. С того дня, как она упала на

шесть делений, он начал записывать каждый день, утром, в полдень и на закате. Сорок лет записывал. Писал ещё знакомым в северные города, просил их делать то же, и они слали ему листы с обозами, пока было кому слать.

— А потом записывали вы.

— Потом я. Он взял с меня слово, когда я был моложе Лив. — Старик положил на папку ладонь в коричневых пятнах. — При старом короле жрецы постановили, что мерить гнев богов есть дерзость. Орвина лишили места и запретили ему входить в совет. Трубку он успел перенести сюда. С тех пор про неё мало кто знает.

Он развязал ремень, и я забыла, что собиралась спросить.

Листы лежали годами, каждый год прошит суровой ниткой. Почерк у Орвина был мелкий, с наклоном влево, цифры он ставил в три колонки и в конце каждого месяца подводил черту. На первом листе вверху стояло: «Год первый от Кольта. Трубка у северного окна Часовой палаты, в тени, в двух локтях от стены». Он записал, где висит прибор. Человек, живший сто лет назад в мире паровых саней и богов, догадался указать, что термометр в тени и на каком расстоянии от стены. Я чуть не заплакала над этой строчкой, хотя над собственной смертью у меня не вышло.

Сначала я проверила прибор, потому что цифрам без прибора верить нельзя. Трубка висела за окном архива в деревянном ящике с прорезями, и Кейн показал мне, как откидывать ставню. Стекло было толстое, с пузырьком у западного конца, спирт подкрашен красным. Деления Орвин нанёс алмазом. Ноль у него приходился на тающий снег, восемьдесят на кипящую воду, и я не поленилась сходить на крыльцо, набрать в кружку мокрого снега с тёплой стороны и подержать в нём шарик. Красный столбик встал на ноль и не двинулся. Шкала почти совпадала с одной старой шкалой из моего мира, пересчёт был простой, на четверть больше.

Дальше я читала. Кейн зажёл лампу, придвинул её ко мне и сел так, чтобы видеть моё лицо. Листы он знал наизусть.

Первые двадцать семь лет рассказывали то же, что портовые книги, только честнее. Среднее за год, а Орвин считал и среднее, о чём я не смела и мечтать, в начале держалось на четырёх делениях выше нуля. Потом поползло вниз, сперва на волос, затем быстрее, и к году, когда Вана не вскрылась, потеряло двенадцать делений. Северные корреспонденты писали хуже и реже. Последний лист из города Хёгне был помечен девятнадцатым годом, и внизу другой рукой стояло: «Трубка лопнула в ночь на третье. Спирт замёрз прежде». Ниже Орвин приписал своим наклонным почерком: «Трубку там заливали хлебным вином пополам с водой, чистого спирта на север не хватало».

Я знаю, при какой температуре схватывается такая смесь: около сорока градусов мороза по-нашему. Положила этот лист отдельно и какое-то время не брала следующий.

После двадцати седьмого года кривая в столице делала странное. Она переставала падать. Пять лет, восемь, десять среднее стояло как прибитое, с разбросом в десятую, потом за одну зиму проваливалось на полделения и опять вставало. Я выписала эти провалы на доску. Сорок первый год, пятьдесят четвёртый, шестьдесят шестой, семьдесят седьмой. Ступенька, полка, ступенька, полка.

Природа так не умеет. Климат дрожит, гуляет, у него есть тёплые годы и холодные, и ни один ледник на свете не стоит десять лет с точностью до десятой, чтобы потом шагнуть вниз ровно на столько же. Так ведёт себя котельная, когда кочегар держит давление, пока хватает угля, а потом снимает один котёл с линии. За эти полки кто-то платил. Он удерживал город на одной отметке, сколько мог, потом сдавал ровно одну ступень и снова держал.

Я смотрела на цифры, и у меня перехватило дыхание.

— Это он, — сказала я. — Хранитель. Полки его.

— Орвин называл их «ступени милости», — отозвался Кейн. — В насмешку. Он не любил жрецов.

— В среднем выходит полградуса за десять лет. — Я говорила уже себе, вслух, как диктую в поле. — Снаружи зима падает сама, а здесь её опускают руками, по ступеньке. Это управляемый процесс. И у него кончается управление, смотрите.

Я развернула к нему доску. Первая полка продержалась четырнадцать лет, вторая тринадцать, дальше двенадцать и одиннадцать. Последние листы Кейн исписал уже нетвёрдой рукой, крупно и с нажимом. По ним выходило, что следующие полки длились девять лет и восемь, а нынешняя стоит шестой год. Полки укорачивались. Тот, кто держал, уставал, и уставал всё быстрее.

В самом низу папки нашлась ещё одна тетрадь, тонкая. Раз в год, на другой день после Середины зимы, Кейн выходил на крыльцо и считал шаги от двери башни до места, где на мостовой начинался снег. В первый его год голый камень тянулся до речной пристани. Сейчас он обрывался у архивного крыльца, я сама утром видела эту границу и подумала тогда, что так строили. За семьдесят лет круг отступил на шестьсот шагов. Двести из них пришлось на последние десять.

Считать, чем это кончится, было нетрудно, и оттого противно. Ряд шёл к нулю, и было видно, где он в него упрётся. Я сложила то, что оставалось, на полях доски. Нынешняя полка дотянет до семи лет, за ней шесть, пять, четыре, и дальше мельче. Получалось около двадцати лет, после которых полок не будет вовсе, только спуск, до той отметки, на которой в Хёгне лопнула трубка. Угольные станции встанут раньше: Рорик говорил, что давление в трубах роняют уже сейчас. Теплицы на крышах продержатся, пока целы стёкла.

В этом городе жили люди. Вдова пекаря, которая поила Эйлу с ложки. Племянник Рорика, шести лет, уверенный, что корова — сказка. Лив с чернильным носом. Двадцать лет, и девочке будет тридцать девять.

Лампа потрескивала. За окном совсем стемнело, и красный столбик в ящике, я проверила, опустился ещё на два деления.

— Двадцать лет, — сказала я. — Плюс-минус два года. Потом его тепла не хватит даже на башню.

— Девятнадцать, — поправил Кейн. — Ты положила, что нынешняя полка достоин до семи лет. Она не достоин: круг в эту зиму уже отступил на девять шагов, а посреди полки он прежде не двигался. Я проверял.

Я подняла голову. Он сидел прямо, сложив руки на пледе, и вид у него был довольный: его ответ наконец сошёлся с чужим.

— Вы всё это посчитали сами. Давно.

— Я старый, из ума пока не выжил. Считать меня учил Орвин.

— И вы молчали?

— Кому я должен был сказать? — спросил он без обиды. — Жрецам? Они сожгли бы папку и были бы по-своему правы: что сделает город, когда узнает день? Магистру? Хольд хороший счетовод, он поймёт цифры и сляжет, а уголь делить будет некому. Я ждал того, кто спросит, что с этим делать. Знать мало.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.